

Ты куда ушел, отец?

Земля уже поспела, просохла от весенних дождей – вот-вот возьмет-ся корочкой. Надо копать. Надо бросать в нее семена. Ты сколько жил, столько и делал это.

А теперь?..

Ты зачем ушел, отец?..

Мы, дети, думали, что тебе не будет конца. Как полю, на котором ты работал (за полем ведь – новое поле). Как небу – сколько не идешь, сколько не едешь – оно все равно над головой. Как времени, отмеряемому часами-ходиками: дошли до цифры 12 – и снова начинают свой круг.

Когда мы однажды увидели тебя сидящим на кровати (ноги уже от-казывались ходить), с бородой, отросшей до груди (бриться было уже тяжело, и ты махнул рукой: «Пускай растет; буду как настоящий дед»), мы несказанно удивились: а ведь дедом-то ты еще и не был...

Был пахарем. Был сеятелем. Убирал на комбайне колхозный урожай. Плотником был. Истопником. Господи, да кем только не был, какой толь-ко работы не переделал за долгую жизнь!

А вот чтобы по-стариковски праздно сидеть на кровати – таким мы тебя еще не видели.

Дольше всех к этому не мог привыкнуть сын. Названивая из Москвы и пережидая долгие гудки, он говорил потом: «Ты чего так долго не под-ходил к телефону?». Сын никак не мог понять, что путь до буфета, на котором стоял телефон, для отца теперь целое путешествие: сначала надо, держась за стену, добраться до холодильника, потом – до стола, стараясь ступить до него одним шагом, чтобы быстрее оказалась под рукой новая опора; ну а потом уж и до буфета недалеко...

Мы, дочери, все это уже видели и знали, и поняли, насколько это огор-чительно прежде всего для самого отца. Потому и поспешили сказать: «Дедом-то ты еще и не был – некогда было. Вот и побудь им!».

Но и тогда, после этих слов, казалось нам, что конца тебе все равно не будет. Ну не станешь работать – так и пора отдохнуть. Главное – ты ЕСТЬ, а нам большего и не надо: работать пришел наш черед. А ты вот сиди на кровати, и мы будем знать, что все самое главное в мире – на своем месте. И значит, можно спокойно жить дальше.

Только ТАМ, наверху, распорядились по-другому...

Одно из самых первых моих воспоминаний: зима, ночь. Мы едем из Верхней Ладки – из гостей – домой. Помню себя сидящей на санях-роз-вальнях. С кем? С мамой, конечно, в гости мы ездили к ее родителям. Наверное, с нами была и сестра (если разница в нашем возрасте – три года, а я уже п о м н и л а, значит, мне шесть, может быть, семь лет). Мы сидим в санях на соломе, а папка идет рядом, с вожжами в руках. Идет и во все горло поет-распевает:

Еду, еду, еду к не-е-й,

Еду к Любушке сво-е-й...

Мне нисколько не страшно, но у мамы на этот счет (насчет ситуации, в которой мы находимся) своя точка зрения:

– Садись в сани! Да правь скорей! Поморозим ребятишек-то...

Я еще мало что понимаю в отношениях родителей; я только чувствую, что папке хорошо, вольно, душа у него поет... но и мама, наверное, права: ночь, мороз за щеки кусает, а до дома еще далеко...

Много времени спустя я спрошу ее:

– А помнишь – мы в Верхолодку ездили? Возвращались ночью, на лошади. Папка еще всю дорогу песни распевал...

Мама всерьез задумалась. И так же серьезно ответила:

– Да разве мы мало ездили? А раз пел – значит, пьяный был. Всю жизнь, считай, пропил...

Нет, не хочу пока об этом. Вот о чем хочу, так это – о сказках.

Помню папкины сказки до сих пор. Сказки и голос, каким он их рассказывал. А как не помнить, если рассказывались они сначала мне, вслед за мной – через три года – сестре, а следом за ней – через восемь лет – брату. Вот эти, рассказываемые брату, помню особенно явственно. Слово «сказка» он еще не выговаривал и потому просил так: «Казу! Казу!» И начиналась «каза».

«Жила-была коза. И было у нее семеро козлят. Уходила коза в лес за молоком, а козляткам наказывала: никого не пускайте! Только уйдет коза, а волк тут как тут: «Козлепяташки, ребятушки, отворитесь, отомкнитеся»...

Я не знаю, почему папка вместо «козлятушки» говорил «козлепяташки», но слово это нам очень нравилось. А уж когда он начинал говорить за волка – сначала толстым, а потом, после того, как его язык подковал кузнец, тоненьким голоском... Не знаю, рассказывал ли кто еще в нашем селе сказки детям именно так, как наш папка. Он сам как бы становился незримым участником действия, каждый поворот которого обозначал особой, соответствующей ему интонацией. «А один, самый маленький, в печурку спрятался», – тут была и соответствующая моменту таинственность, и радость за находчивого маленького козленочка: смотрите-ка, не растерялся! И намек нам: мотайте, мол, себе на ус...

Для нас, до той поры в театре еще не бывавших, это был самый настоящий театр; мы слушали папку, забыв обо всем на свете. И что с того, что мне было уже за десять, а брату шел только третий год? Едва сказка заканчивалась, он, к радости сестер, опять начинал требовать: «Казу! Казу!».

И папка начинал новую, чаще всего – как старик ездил на базар за рыбой. «Вот один раз говорит старик старухе: «Напеки-ка мне, старуха, блинов»... Мы слушали и понимали: старик и старуха были всегда, и всегда старуха пекла блины, чтобы накормить старика, ублажить его перед тем, как он отправится на важное дело, – она этими блинами прибавит ему сил, заставит помнить о доме, о ней самой. Разве случайно старик, увидев на дороге лису, тут же решил: славная будет старухе шуба?!».

Еще мы слушали про курочку Рябу. Опять – старик и старуха, опять все знакомо и одновременно волшебным образом преображено, высвечено и дополнено папкиным голосом!

Мы были бы, наверное, счастливыми детьми на свете, если бы...

Я не знаю, почему между мужчинами и женщинами в нашем селе шла вечная война. И это не преувеличение. Единственным отличием от всякой другой войны было то, что те шли между государствами, а эта – между

супругами. Людьми, которые, кажется, должны и обязаны были жить в мире – к этому обязывало все: вековечный опыт жизни многих предшествующих поколений, наказания родителей, собственное разумие наконец.

Куда там!

Война в каждой семье шла особая. Кого-то муж просто гонял (материл, крушил мебель, выгонял на улицу, хотя бы и в ночь, жену и детей), кого-то еще и бил. Отец моей подружки Даши жену и гонял, и бил. Вот почему, завидев его, возвращающегося домой пьяным, она в ужасе бежала к матери – бабе Фросе, и та прятала ее в подполе. А как иначе? Суровый муж придет, учинит допрос, проглядит все углы. Как он не догадывался заглянуть в подпол – загадка; видно, не думал, что баба по доброй воле полезет в вечно холодное и сырое место, и не на минутку, не на полчаса, а пока муж не находится по селу в ее поисках, не истратит на них последние оставшиеся от попойки силы и не утомится наконец, завалившись спать. В конце концов дядя Сеня догонял тетю Тоню до того, что та заболела на нервной (а какой же еще?) почве. Муж повез жену по больницам. Возвращаясь, удивленно рассказывал мужикам: «Другим электрической расческой проведут по голове – отваливаются спать, как мухи. А моей хоть бы что – не спит и не спит»...

Закончилось все тем, что тетя Тоня выпила пузырек снотворного. Теперь она спала уже без просыпу, никто и никак добудиться ее не мог. Помню, мы стояли вокруг ее кровати (я, моя ровесница подружка Даша, два ее младших брата и баба Фрося) и смотрели, как мучительно тяжело – шумно, с хрипом – дышит тетя Тоня. Вдруг баба Фрося взяла меня за рукав и вывела в сени. Здесь она сунула в мою руку листочек бумаги и шепотом приказала: «Читай». Я поднесла листочек к глазам. Тети Тониной рукой там было написано: «Дети, простите, я больше не могу терпеть»...

Тетю Тоню увезли в больницу, а через несколько дней понесли на кладбище. «Мам, не ходи туда, не ходи!» – всю дорогу до могил кричал младший Дашин брат Вовка...

Наш папка был «гоняющим». Руку на маму не поднимал, но матерился так, что по нашим спинам пробегал холодный ужас, и посуду пошвыривал так резко, что сердце разбивалось о стенку вместе с ней. Однажды собрал всю нашу одежду и бросил в печь: «Сожгу на ...! Сам заработал – сам сожгу!»...

Долго выдерживать все это не хватало сил, и мы, дети, сами бежали из дома, скрываясь или у бабушки, или у папкиной сестры; один раз ночевали в правлении колхоза – на столах, потому что стояла лютая зима, и на полу было немногим теплее, чем на улице...

Только однажды папка поднял руку на маму, да и то «опосредствованно» – тяжелая, не знаю уж какими бумагами набитая папка полетела в мамин живот, в котором уже давно жила и просилась наружу наша новая сестренка. Скоро она и родилась, и каждый день жизни был для нее мукой: Мариночка (так мы называли ее) ни с того ни с сего вдруг синела и начинала задыхаться, откидывая голову назад... Когда она через несколько недель умерла, я услышала от маминой сестры слова, показавшиеся мне тогда странными и страшными: «Слава Богу, отмучилась!»...

Вот тогда-то я и написала письмо в «Пионерскую правду» (думаю, училась уже классе в пятом-шестом): «Помогите, наш отец издевается над нами как палач»...

Через какое-то время в дом зашел городского вида мужчина – в костюме, при галстук:

– Вы писали письмо в газету?

Я гладила белье; от страха, застенчивости перед незнакомцем, взрослого «вы», так и не прекратив своего занятия, тихо прошептала:

– Писала.

– Да перестаньте вы гладить. Расскажите подробнее. Он что – всегда только пьет? Или еще и на работу ходит?

Тут я растерялась еще больше: конечно, ходит на работу. Только разве это оправдание всему тому ужасу, в котором мы живем? И как об Э Т О М можно рассказать подробнее? Об Э Т О М вообще невозможно рассказать; об Э Т О М можно только написать, да и то – от себя украдкой...

Ничего от меня не добившись, незнакомец ушел. А чуть позже меня вызвали в правление колхоза. Говорил со мной (опять как со взрослой, только уже без наводящего страх «вы») сам председатель колхоза, Владимир Алексеевич Наумов. Его авторитет не только в селе, но и в районе, и во всей нашей маленькой республике был таким, что школьники в сочинениях о будущей профессии писали: «Хочу стать Наумовым». От такого умного, пронизательного, всеми уважаемого человека я ждала П О Н И М А Н И Я. И вдруг услышала:

– Ты уверена, что ты права? Ты уверена, что поступила правильно?

Сердцу от таких слов стало холодно. Где-то внутри встрепенулось: «Как же не права, если написала чистую П Р А В Д У»?

Владимир Алексеевич между тем продолжал:

– Ты еще маленькая. Ты многого еще не можешь понять. Поверь мне на слово: когда вырастешь, на многое станешь смотреть по-другому.

Вместо понимания и сочувствия – какие-то общие, ничего не значащие, не обещающие помощи и поддержки слова – так мне тогда показалось...

И я ушла от всеми уважаемого Наумова не просто разочарованная – убитая и огорченная. И долго жила с одной только мыслью: скорее окончить школу – и из дома. Как можно дальше...

Когда, в какое время, в каком возрасте стало зарождаться и крепнуть чувство, что все не так просто, как я написала в том письме? А может, это чувство жило во мне всегда, только я ему не доверяла?

Помню, папка меня, дошкольницу, за что-то отшлепал. Я так обиделась! Спустя время иду на улицу, а он копает землю на огороде. Иду и чувствую, что он на меня поглядывает. Ему меня жалко. Я все это понимаю без слов. Но мне-то нужны слова! Без слов и я понимаю, чувствую, что и мне его тоже почему-то жалко. Вон он – стоит, смотрит, может быть, ждет, что я подойду, повернусь хотя бы... Ну уж нет! Умные люди говорят, что руку на детей поднимать нельзя. А раз поднял (мне нисколько было не больно, но так обидно!), значит, пусть мучится, пусть страдает... Да, но почему же мне его Т А К жалко? Мало того, я чувствую, что я его... люблю...

Еще помню: мы от папки ушли. Мама сказала: хватит! Ушли и стали жить на квартире, в соседнем селе, где мама работала в школе. Очень скоро она поняла, однако, что на ее зарплату нам не просуществовать, и скрепя сердце вернулась домой, к обидчику-мужу. Сколько мне было тогда лет? Наверное, я все еще не ходила в школу. Иначе почему тогда папка взял меня на руки, как маленькую? Взял, прижал к себе, и я увидела на его глазах... слезы. И услышала слова: «Как она могла... как она могла...».

Папка плакал, я тоже плакала... И так хорошо было у него на руках! И я опять его... любила!

Хотя пить он не бросил, нет! Иначе я никогда не написала бы того ужасного письма. В том-то и дело, что все в доме опять пошло по-

прежнему, и я подумала: вот напишу, и придет кто-то умный, и поговорит с ним, и он сразу переменится и станет другим. Станет жить п р а в и л ь н о – так, как живут герои книг, которые я читала, герои фильмов, которые я смотрела.

Но ни мой папка, ни отцы моих подружек правильно жить не तो-ропились. Были какими были: с черными от работы руками, пьющие, матерящиеся. Вот такие-то – нам и в голову не могло прийти – что они когда-то там воевали. Вернее, так: мы знали, что наши отцы были на во-йне, но чтобы они совершили там что-то, приблизившее Победу... Победу приближали герои, – так считали мы. А герои – это Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и все им подобные. Наши же отцы...

Наши только и могут, собравшись за столом, орать во все горло:

*Вы-пьем за Родину,
Вы-пьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем!*

И выпивают, и наливают опять. А в перерывах между стаканами о чем-то там вспоминают, но мы к этим речам не прислушиваемся. Во-первых, потому, что, наученные матерями, уверены: пьяный человек ничего хо-рошего сказать не может. Во-вторых, потому, что внимание рассеивалось от постоянного страха: не перешла ли пьянка ту опасную черту, когда из дома пора бежать?

Чаще всего вспоминаю папку, выпивающего с Лукавым. Лукавый – такое прозвище было у учителя истории нашей школы. Почему? Бог весть. Лукавить он как раз-то и не умел, – всегда говорил то, что думал. Подозревать его в черноте внутренней, душевной, тоже не было основ-аний – никому никогда Лукавый не сделал зла. Наоборот: именно к нему да его жене Капе мама любила ходить за советами. Трезвый Лукавый – ума палата, – любую беду руками разведет. Да и не матерился он, трезвый (как, впрочем, и наш папка; по-трезвому редко только, в сердцах, срывалось с его губ матерное слово)... А вот поди ж ты – Лукавый – и все тут.

Заходил в гости он всегда чисто одетый, в наглаженной рубашке. Мама, конечно, суетилась, приглашала к столу; папка произносил свое коронное: «Щи да щи... Ты аппетитных капель давай!». Подавались «аппетитные капли».

Сначала мужики чинно выпивали по первой (пока была маленькой – помню граненые стаканы, потом – мода сменилась? мужики с возрастом стали слабее?) появились граненые же рюмочки. И первая, и вторая, и третья – пока шел чинный разговор. Сначала о колхозных делах, потом – о делах государственных (фамилии членов Политбюро так и мелькали в разговоре; вот бы поприсутствовать на таком «разборе полетов» кому-ни-будь из них, – может, и дела в государстве шли бы по-другому...), потом приходил черед вот этого:

*Вы-пьем за Родину,
Вы-пьем за Сталина...*

С этого момента накалялись страсти: папка говорил о Сталине с вос-торгом (пусть уже и пьяным), Лукавый ему перечил, доказывал что-то свое. Папка не соглашался; у них начинался спор. И вот уже летят сбитые со стола тарелки, опрокидываются потерявшей твердость рукой рюмки... Счастье, если мужики – оба – сваливались спать. Лукавого как гостя мама уважительно, хоть и ворча, затаскивала на кровать; отец сваливался на пол тут же, у стола.

– Слава Богу! – радовались мы. Спят. Бежать из дома не надо...

Впрочем, Лукавый продолжал пугать и спящий: он во сне разговаривал. Глаза закрыты, лицо неподвижно, как маска, а изо рта вырываются слова, а то и крики... Жуть! Мурашки по телу!..

И вот такие-то мужики, по нашему тогдашнему разумению, ничего стоящего на войне совершить, конечно же, не могли. Александр Матросов мог, Зоя Космодемьянская могла. А наши...

Я уже сама давно была мамой, когда получила из дома письмо, в котором лежала еще и вырезанная из районной газеты заметка. Мама писала: «Вот, отец велел выслать. Пусть, говорит, дети почитают»...

В заметке шла речь о том, что «Рыжов Николай Еремеевич прошел большой и славный путь в годы Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в боях, отмечен правительственными наградами – орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»...

Медали, орден... Да мы их в доме никогда и не видели! Куда же они подевались? Почему, пока мы росли, отец нам, детям, ни разу о них не сказал?!

Все, что помню из его рассказов о войне – как приехал он в июле сорок второго в город Горький учиться на минометчика. «Подхожу к казарме и вижу: на окошке Лукавый сидит. В руках гармонь, играет и песню поет»... Тут папка счастливо смеялся (приехал из села в далекий большой город, где – ни одной знакомой души, и вдруг на подоконнике открытого окна – Лукавый, друг детства, с которым вместе по садам лазили...).

За целую жизнь я не удосужилась спросить: они только учились – или и воевали вместе? Только из той газетной заметки узнала наконец, что «окончив курсы при первой учебной минометной бригаде «катюш», получив звание сержанта и должность командира орудия, некоторое время Н.Е. Рыжов оставался при учебной бригаде, готовил боевые кадры для фронта, а затем в службе разведки 456-й артиллерийской бригады прошел большой и трудный путь по огненным дорогам войны, завершив свою военную эпопею под Кенигсбергом».

Вот про Кенигсберг – знаю, помню. Как не помнить: папка рассказывал, как после освобождения города они с фронтовыми друзьями-товарищами откопали в саду какого-то дома флягу с вином. Откопали, наполнили кружки (надо же отметить такое событие – город взяли!), как вдруг у кого-то закралось сомнение: «А вдруг оно – отравленное?».

– Тогда мы решили так: пьем вместе! И – будь что будет!

– У-у-у, – доносился из чулана мамин голос. – И тут – про водку...

– Все живые остались! – победно заканчивал папка.

Мы и сами видели, что он живой. И еще раз убеждались: ну какие тут подвиги? Все думки были – про нее, окаянную...

... Я приеду домой на сороковины и остановлюсь на кухне, пораженная. На стене висел увеличенный папкин портрет. Такого папку – в военной форме – мы, дети, не видели и не знали. Мы помнили его другим, а он... Вон он глядит на меня с портрета, и такой молодой мощью, такой незнакомой нам красотой веет от него, что дух захватывает! И на левой стороне груди – медали (не придумал районный корреспондент!), а на правой, где полагается быть ордену... дырка на кармашке гимнастерки.

Эх, папка... Не умел ты беречь награды...

Такой же портрет я привезу потом домой. Сколько буду жить – столько и будет он висеть на стене. А потом детям накажу: берегите!

Что же касается «Выпьем за Сталина»... Я еще успею привезти ему книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Спрошу потом: «Ну как?».

К тому времени выпивал он уже редко и мало, а трезвым разговорчивым не был. Только и услышу в ответ:

– Да-а-а... Ну мы хоть и кричали в боях «За Сталина», а воевали-то за Родину.

– Он ведь ничего уж не ест. Так, если яичко...

Сестра позвонила в новогоднюю ночь; мы: я, муж, дети, внуки сидели за праздничным столом. Сразу все стало неинтересно. Все заслонила одна мысль: домой, к нему. Я должна что-то придумать, как-то удержать его на этой земле...

Позвонили на станцию; оказалось – нужный поезд идет в нашу сторону буквально через два часа.

На следующий день, ближе к обеду, я вошла в родительский дом.

– Наташ, ты?

Голос у папки был негромкий, глухой, но он говорил!

И я сходу принялась его «воодушевлять»:

– Папк, ты чего? Чего сник-то?

– Да вот... И уколы кололи, и таблетки пил, а толку нет.

– Ну их, этих врачей! Смотри лучше, чего я тебе привезла...

А привезла я бальзам «Шипова дубрава», настоящий, как утверждала этикетка, больше чем на двадцати лекарственных травах.

– Папк, давай по маленькой-маленькой рюмочке... для аппетита...

И случилось чудо: папка стал есть! Суп!

Я уезжала (работа, дети, внуки...) счастливая: это папка-то ничего не ест?! Папка, который всю жизнь хлебал щи из большого блюда?! Пусть теперь не из блюда, пусть из тарелки, но ведь ест же!

На прощанье у нас состоялся такой разговор:

– Смотри, чтобы духом не падал.

– Не-е... У меня теперь вон какой ресторан (папка показал на табуретку у кровати, на которую мама ставила тарелку со щами). Вот только борода как у старика.

Тут меня и осенило:

– Папк, а ведь ты стариком еще и не был! Всю жизнь работал и работал. Как молодой.

Папка с готовностью эту мысль подхватил:

– А ведь и правда... Чего бы мне не пожить еще стариком-то?

Не получилось... Не привык он – стариком. Потому что стариком – значит без дела.

Летом я приезжала в отпуск; папка уже не ходил, но еще хорошо сидел на кровати. Говорили об обычном, житейском: во-первых, я боялась его утомить, во-вторых, боялась того, что д р у г и е разговоры он может воспринять как п р о щ а л ь н ы е. Он спрашивал про внуков, про дом, огород и картошку: «Много посадили в этот год?»

И тут выяснилось, что еще прошлой осенью всю картошку со своего сада он выкопал сам. Мама рассказывала:

– Взял лопату, и потихоньку пошел, пошел... Так и выкопал. Мы с Вале́й (дочь) и Никиткой (внук) таскали.

– Господи... Может, он ноги тогда и перетрудил?

– Его разве остановишь? Одно твердит: «Неужто кого нанимать? А я на что?»...

Всегда, всю жизнь папка все делал сам. Копал, сажал, убирал... Всю жизнь: семьдесят девять весен, лет, осеней: копал, сажал, убирал. К этому привык он, к этому привыкла земля...

Дом перестраивал – из ветхой избушки в крепкий пятистенок – тоже сам. Хлев, где всю жизнь стояла корова – тоже сам. Сарай, где хранились дрова и брикет... загончик для поросят... нашет для кур... изгородка... А какую террасу пристроил к дому: окна – на две стороны света, полка для книг, полочки для посуды... И крыльцо тоже застеклил, от улицы отгородил, дверь на петли повесил: ни собака, ни курица не зайдут, а для кошки внизу – маленький лаз...

Следующий тревожный звонок от сестры прозвучал осенью. Стоял ноябрь. Срок для зимы еще не пришел, – она попугивала холодами, но вместо снега сверху падал холодный дождь...

Я зашла домой и увидела на папкиной кровати кости, обтянутые кожей. И все-таки это был папка – живой! Но на этот раз он действительно не ел, не помогал даже волшебный бальзам, настоящий на двадцати лекарственных травах. Он и воду пил уже с трудом; чтобы облегчить дело, мама вставляла ему в рот маленькую пластмассовую воронку и тихонько, маленькими порциями, лила туда воду.

Как мало и с каким трудом он уже говорил! Чаще всего мы слышали от него одно только слово: «Баушка».

Наверное, именно с него, с этого слова, началась череда чудес...

Когда папке что-нибудь было надо, он делал призывный жест рукой; кто-нибудь из нас, дочерей, кидался к нему, но он делал уже протестующий жест и звал:

– Баушка, баушка!

Мы кидались за мамой, если она была на улице, или звали ее из передней, если она ложилась отдохнуть. Можно представить, как она уставала в ту пору, но с кровати вспархивала, как молодая: «Чего?». Папка показывал на рот – если хотел пить, или вниз – и тогда она поднимала с пола стеклянную банку...

Все остальное время папка просто смотрел. И это было главным чудом. Заклучалось это чудо в том, что из папкиных глаз лилась Т А К А Я любовь... Я не знаю, какими словами назвать, какими словами определить ее. Я только чувствовала, что льется она почти ощутимым потоком – как вода, и из глаз его перетекает прямо в наши души, и в этой любви-воде растворяется все: все обиды, вся горечь, все прошлые непонимания, растворяется и уносится прочь. А остается, сейчас и впереди, только она – чистая-пречистая любовь...

Наверное, он многое хотел сказать нам тогда, но уже не мог. Оставалось – только смотреть. И это последнее, что было ему под силу, он сделал так, что я

Н И К О Г Д А не забуду...

Уезжала домой я раным-рано. На улице было еще темно, мы включили свет. Этот свет папке был уже тяжел; чтобы спрятать от него глаза, он опустил голову вниз. Когда я подошла к нему, чтобы попрощаться, он – и это еще одно чудо – выговорил вдруг целую фразу:

– Наташа... как хорошо, что мы повидались.

Я услышала в этих словах только радость встречи – только радость, и не смогла (не захотела?) расслышать прощания...

«Как хорошо, что мы повидались» – повторяла и повторяла я, пока ехала домой...

«Приезжайте. Папка умер»...

Теперь я собралась в дорогу вместе с мужем.

И папку увидела уже лежащим в гробу.

И все мы, собравшиеся у гроба, стали свидетелями еще одного чуда: у папки было Т А К О Е лицо...

Я опять ищу и опять не могу подобрать нужных слов. Вспоминаю лицо родственницы, которую мы хоронили несколько лет назад: оно было озабоченным. Никогда не думала, что лицо умершего человека может быть озабоченным: а все ли вокруг меня происходит так, как должно, как надо? Не осудят ли люди за что?..

Папкино лицо было просветленно и благородно. Просветленно – понятно; просветлено любовью, которую он успел излить на нас, остающихся жить. Но откуда у механизатора широкого профиля, всю жизнь проходившего с черными руками, эти благородство и красота черт? Папка лежал красивый, как князь или граф, словом, аристократ, который всю жизнь свою плоть лелеял и холил. И сквозь эту саму по себе впечатляющую красоту – красоту черт и линий – проступала еще одна, другая, уже не телесная. Это было лицо человека, избывшего вечную нужду (ничего, ничего теперь не надо!), вечную работу (отдыхайте, руки!), а главное – вечную вражду и войну и отдавшего свою душу миру, любви и свету.

Отпевальщицы, заходя в дом, с тихим благоговением роняли:

– Это не старик – старец...

Самый неприятный месяц осени – ноябрь. Земля, деревья, кусты – все, все черно от дождей. Люди идут в дом – проститься с папкой – и несут на ногах грязь...

Но уходил он от нас по белому снегу. Вдруг кто-то, У М Е Ю Щ И Й В С Е, сделал так, что семнадцатого ноября выпал снег. И все стало бело и чисто: дорожка от крыльца дома до калитки, дорога до поворота на кладбище, дорога до самого кладбища... Вдруг вспомнилось, когда выносили гроб, как папкина сестра рассказывала:

– Бывало, зайду к вам, когда ты маленькая была, а Колька зыбку качает. Качает да поет:

*Тары-бары-растабары,
Белы снеги выпадали...*

Вот и несли мы его – по белому снегу...

Я смотрела на дорогое лицо и думала о том, что передо мной лежит не просто мой отец, а человек, всю жизнь себя отдававший. Его руками родное государство делало историю: побеждало врага, выполняло семилетки и пятилетки, создавало все, что только и есть вокруг. Не спорю, не спорю: отцу это тоже было надо: кормил семью. Но почему, почему он, создававший все, должен был всю жизнь обходиться минимумом? Минимумом еды и одежды? Минимумом жилой площади? Минимумом земли (ему дай волю, он бы такой огородище копал и убирал!)? И это еще не главное; главное в том, что его мало когда о чем спрашивали. Много он говорил только с Лукавым. И только в одном не было ему и его друзьям-товарищам ограничений: пей сколько хочешь!..

Господи, зачем сейчас об этом?.. Зачем – о земном? Ведь дальше...

А дальше лучше, наверное, не думать. Лучше довериться батюшке, умеющему провожать в последний путь. А мое дело – не закричать «нет», когда мужики поднимут крышку гроба, не упасть коленями на мерзлую землю, не забиться в истерике, но превозмогая боль и муку, вымолвить главное слово, которое не успела сказать при жизни: «П Р О С Т И»... Прости за В С Е...

И еще одно чудо случилось в тот день: провозжая папку, мама плакала так, как, наверное, давно уже не слышали кладбищенские ивы. «А куда ты ушел... на кого ты меня оставил... у детей своя жизнь... остаюсь одна-одиношенька...».

Дорога с кладбища домой. В дом, где уже не было – и никогда не будет – папки...

Поминки. «Давайте помянем хорошего человека... фронтовика... всю жизнь работал... всем помогал... никого не обижал»...

Потом перемыли полы и посуду, вынесли столы. После всех переживаний и двух бессонных ночей легли наконец спать. Конечно, сон не шел. Все думалось и думалось, вспоминалось и вспоминалось... А тут еще свет от уличной лампочки бьет в глаза через окно – забыли задернуть штору. Надо встать и задернуть.

Просто встать и задернуть, но для этого надо пройти через всю комнату. Через ее середину. Середину, на которой еще недавно стоял гроб. Страшно...

Но свет назойливо-равнодушно продолжал бить в глаза. И я встала и пошла. Через середину.

Что тут случилось! Вместо страха... вместо страха на меня полилось вдруг такое... Радость, восторг – слишком резкие, слишком грубые слова. Благодать? Когда я шла через середину комнаты, мне стало вдруг благодатно. Как бывает только в церкви.

И означать это могло только одно: значит папка посылал утешение уже О Т Т У Д А...

... Увы, – одно из чудес, которые произошли, оказалось обращенным. Когда на следующее лето я приехала домой, опять услышала: «Всю жизнь мучилась с ним... всю жизнь пропил...». Стало так больно!

Так больно, что я действительно заболела. Лежала, мучилась; ну как этого можно было не понять: в последние свои дни он пережил такие муки! И он от них не спрятался, не ушел в смерть раньше положенного срока – он принял их на себя, и все пережил, и был помилован, был прощен Т О Й властью, выше которой нет... Как можно было этого не понять?

Или... или здесь все-таки совсем другое? Ужели и вправду:

Кто прощен, тот забыт.

Непрощенный вовек не разлюблен –

И душой не избыт,

И забвением не приголублен...

Ужели и вправду такое возможно?

И вдруг в сознании ли, в душе ли стало брезжить: а ведь папка сейчас меня бы не понял и не одобрил. Нет, не одобрил. Причина моей болезни – я сама; это мой эгоизм хочет, чтобы сейчас, когда один здесь, а другой Т А М – встретились и помирились. Но видно, срок этому еще не пришел. И мое дело – терпеливо ждать, а не судить.

И – жить дальше. А когда станет немого, когда покажется вдруг, что жить стало нечем, вспомнить это: я у папки на руках, и он качает меня, как маленькую, и не плачет, но поет и поет эту незатейливую песенку:

Тары-бары-растабары,

Белы снеги выпадали...